



Николай Ткаченко

Шуйский. Хроники Смуты

18+

Николай Ткаченко

Шуйский. Хроники Смуты. Том 1

«Автор»

2026

Ткаченко Н. А.

Шуйский. Хроники Смуты. Том 1 / Н. А. Ткаченко — «Автор»,
2026

Максим Вяземцев — тридцатипятилетний учитель истории из современной Москвы, уставший от школьных контрольных и просроченных леденцов в бардачке. Его жизнь перечеркивает лобовое столкновение с фурой на ночной трассе. Вместо боли приходит голос: «Не всё дано пережить. Но тебе выпало вернуть долг рода». Очнувшись, Максим обнаруживает себя не в реанимации, а в каменной клетушке начала XVII века. В мутном зеркале отражается бледный семнадцатилетний юноша с жидкой бородкой — княжич Иван Шуйский, дальний родич будущего царя Василия. На дворе сентябрь 1599 года от Рождества Христова (7108 год от сотворения мира), до начала Великой Смуты остаются считанные месяцы. У Макса есть то, чего нет ни у кого в этом веке — знание о грядущих двадцати годах голода, самозванцев, польской интервенции и воцарении Романовых. Однако история встречает попаданца без всякого снисхождения. Род Шуйских находится в опале при Борисе Годунове, а самого Ивана вписали в помянник мертвых задолго до его появления.

© Ткаченко Н. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	17
Глава 4	23
Глава 5	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Николай Ткаченко

Шуйский. Хроники Смуты. Том 1

Глава

Название: Шуйский. Хроники Смуты

Автор(-ы): Николай Ткаченко

Ссылка: <https://author.today/work/645799>

Глава 1

В ту ночь я вёз домой чужую смерть.

Не в переносном смысле — в прямом. На переднем сиденье, пристёгнутое, как живой пассажир, лежала папка с копиями документов Смутного времени: описи казнённых, помянники, челобитные. Я получил их в конференц-зале, от лысоватого архивиста из Пскова, который сунул мне бумаги со словами «гляньте на седьмой лист, там забавно». Я не глянул. Устал, хотелось домой.

Трасса шла пустая, мокрая после дождя. Дворники смахивали с лобового редкую морось. В салоне пахло кофе из термокружки и сырой бумагой — так пахнут документы, которые хранились в подвале лет четыреста и до сих пор не просохли. Магнитола ловила что-то между помехами, я выключил её. Остался только шум шин.

Мне тридцать пять. Я учитель истории в московской школе, классный руководитель восьмого «Б». У меня в бардачке лежит просроченный леденец от Алисы с первой парты, а на заднем сиденье — забытый кем-то сменный кроссовок. Ещё у меня есть привычка проговаривать вслух то, что я читаю, когда один. Этой ночью я молчал.

Фура появилась из-за поворота, когда я как раз потянулся к термокружке. Помню, как кофе выплеснулся на папку — коричневое пятно расплзлось по помяннику, по чужой смерти. Помню белый свет фар, вставший в лобовое стеной, без единого тёмного пятна. Помню, что успел подумать: «Восьмой "Б", у них завтра контрольная, а у меня ключи в кармане».

Боли не было. Вместо неё пришёл голос. Он не звучал снаружи и не звучал изнутри — он просто был, как бывает во сне, когда знаешь, кто с тобой говорит, хотя слов не разобрать.

— Не всё дано пережить, — сказал голос. — Но тебе выпало вернуть долг рода.

Я хотел спросить, какого рода. Хотел сказать, что я Вяземцев, что мой род давно обеднел и ничего никому не должен, кроме коммуналки и банка. Хотел попросить, чтобы перезвонили утром. Не успел.

Свет погас. Последним, что я увидел, был седьмой лист помянника, прилипший к разбитому стеклу. На нём — столбец имён, написанных старинной скорописью. Внизу, отдельно от остальных, чужой рукой было вписано имя. Я не успел прочесть. Буквы поплыли, расплылись в кофейном пятне, и я ушёл следом за ними.

Очнулся я от холода. Не от боли, не от звона в ушах — от холода. Он шёл от каменного пола, на котором я лежал, и от мокрой рубахи, прилипшей к груди. Пахло воском, дымом и кислым — так пахнет в домах, где топят по-чёрному и не открывают окон до весны.

Я лежал на спине и смотрел в низкий сводчатый потолок. Потолок был бревенчатый, с черными потёками копоти. Свеча на столе догорала, огонёк вздрагивал от сквозняка.

«Сотрясение, — подумал я спокойно, как посторонний. — Отключился за рулём, вылетел, бред. Сейчас приедут».

Но никто не приезжал. Потолок не растворялся. Холод был настоящий, и рубаха на мне была не моя — грубая, длинная, с вышивкой у ворота, пропитанная потом.

Я поднял руку. Рука поднялась чужая: длинные бледные пальцы, узкое запястье, ногти с траурной каймой. Я смотрел на неё долго, как на музейный экспонат, пока не понял, что она подчиняется мне.

Тогда я сел. Тело слушалось плохо. Оно было лёгкое, слабое, с одышкой в груди — как после долгой болезни. Я ухватился за край лавки, спустил ноги на пол. Пол оказался холоднее, чем я думал. Пальцы босых ног, тоже бледные, тоже не мои, коснулись камня, и я зашипел.

В углу комнаты стояло маленькое зеркало — мутное, в деревянной оправе, потемневшее по краям. Я встал. Меня качнуло. Я сделал два шага, держась за стену, и заглянул в него.

На меня смотрел мальчишка лет семнадцати. Бледный, скуластый, с тёмными провалами под глазами и жидкой бородкой, какую отпускают юнцы, чтобы казаться старше. Волосы слиплись от жара. Губы потрескались. Он смотрел на меня моими глазами — и я не знал его.

Восьмой «Б», подумал я снова, уже бессмысленно, как заклинание. Контрольная. Ключи в кармане.

В кармане у меня ничего не было. Вместо брюк — широкие порты, подпоясанные верёвкой. Вместо моей рубашки — чужая. Вместо моего тела — чужое.

Я заставил себя дышать. Вдох — выдох. Раз. Два. Три. Голос из сна вернулся эхом: «вернуть долг рода».

— Какого рода? — спросил я вслух, и чужой голос — юный, хриплый после жара — прозвучал под сводами глухо.

Мне никто не ответил.

Тогда я подошёл к столу, взял догорающую свечу и огляделся. Комната была каменная, низкая, с одним подслеповатым оконцем, забранном слюдой. На столе — оловянная кружка с чем-то пахнущим травами, стопка листов, глиняный горшок. Возле двери — сундук.

Я поднял верхний лист. Бумага была плотная, желтоватая, с разлинованными строками. Скорпись. Я читал такую в архивах, но всегда — копии, сканы, микрофильмы. Здесь буквы были живые: чернила выцвели, где-то расплылись, где-то остались острыми, как вчерашние.

«Лета 7108-го, сентябрь в десятый день, — разбирал я, шевеля губами. — По государеву указу...»

Я остановился. Сентябрь 7108 года от сотворения мира. Если я ещё помнил, как переводить старые даты, — а я помнил, это была моя работа, — то на дворе стоял сентябрь 1599-го от Рождества Христова. Или уже 1600-й, если по январскому счёту.

Смутное время. Самое его начало. Я опустился на лавку, потому что ноги перестали держать. Свеча в пальцах дрожала, тень прыгала по стенам.

В школе я любил говорить восьмому «Б», что история — это не даты, а люди. Что за каждой строчкой учебника стоит живой человек, который утром пил квас, а вечером лёг в землю. Теперь я сидел в комнате, где пахло этим человеком, и понимал, что все мои лекции стоят не дороже той кружки с травяным отваром.

Я заставил себя снова взять листы. Руки слушались плохо, но глаза уже привыкали к пляшущему свету. Скорпись была не парадная, канцелярская — беглая, с выносными буквами, с титлами. Такую в университете мы разбирали по слогам на семинарах, и половина курса засыпала на второй строчке. Сейчас я читал её, как читают письмо из дома, — жадно, боясь пропустить слово.

Документ был скучный: роспись, кому с какого двора ставить подводы. Ни имён громких, ни судьбы. Я отложил его и взял следующий.

Второй лист оказался челобитной. Там мелькнуло имя — «Ивашко Шуйской» — и я остановился, как наткнулся.

Шуйский. Я знал эту фамилию так, как знают её все, кто учил историю: Рюриковичи, князя, будущий царь Василий, человек с длинным носом и недоброй славой. Род старый, гордый, при Годунове — в опале, почти под ножом. И где-то в нём, по какому-то чудовищному счёту, теперь числился я.

Я перечитал строчку. «Бьёт челом холоп твой, князь Ивашко Шуйской...» — дальше разбирать не стал. Смотрел на имя и не мог вдохнуть.

Ивашко. В семнадцать лет — Ивашко, уменьшительно, потому что так пишут в челобитных: принижают себя перед государем. А передо мной на лавке сидел взрослый мужик тридцати пяти лет, учитель, Максим Андреевич Вяземцев, который в этом теле был никем — не князем, не холопом, а чем-то третьим.

Я отложил лист. Свеча затрещала, огонёк наклонился от сквозняка. Из-под двери тянуло холодом и ещё чем-то — щами, что ли, варёной капустой, лошадиным потом. Дом жил. Где-то за стеной скрипнула половица, и я вздрогнул так, что едва не свалился с лавки.

Стук в дверь раздался, когда я как раз решал, что делать, если войдут.

— Княжич, — позвал снаружи негромкий голос. — Очнулись?

Я молчал. Голос подождал и добавил:

— Я без худого, свои.

Это ничего не объясняло. В Смутное время «свои» резали своих чаще, чем чужие. Но лежать на каменном полу и ждать, пока меня найдут, было глупее, чем открыть.

— Входи, — сказал я чужим, хриплым голосом.

Дверь отворилась без скрипа — смазана, значит, не бедный дом. Вошёл человек лет сорока, в длинном тёмном кафтане, подпоясанном неброско, но крепко. Борода седоватая, стриженная, взгляд цепкий. Он окинул меня с порога, как окидывают больного — не лицо, а руки, ноги, не подломится ли.

— Слава Богу, поднялись, — сказал он. — Я уж думал, не выходите.

Он перекрестился на тёмный угол, где, видимо, была икона. Я машинально сделал то же. Рука сама поднялась — чужое тело помнило, что надо, даже когда я не помнил.

— Который день лежите, — продолжал он, прикрывая дверь. — Лихорадка вас трясла, батюшка княжич, что осина. Боярыня велела не тревожить.

Боярыня. Значит, я не один, и есть кто-то старший. Это и успокаивало, и пугало: каждый лишний человек — лишний свидетель моей чужой памяти.

— Как тебя зовут? — спросил я.

Он замер на секунду, посмотрел на меня внимательнее.

— Не признали, княжич? Я ж Гришка, холоп ваш, при дверях который год.

— Лихорадка, — сказал я. — В голове мутится. Напомни.

Он кивнул, принял как должное. Потом подошёл, поднял с пола упавший лист, положил на стол аккуратно — по тому, как он взял бумагу, я понял: грамотный, редкий для холопа.

— Гришка я, Григорий, сын Степанов, — повторил он. — При покойном батюшке вашем начал, при дверях хожу. Вам бы поесть, княжич, а то на одних травах.

— Потом, — сказал я. — Скажи лучше... какой нынче год?

Он посмотрел на меня уже с тревогой, но ответил ровно:

— Лета от сотворения мира семь тысяч сто осьмого. Сентябрь на дворе.

Я закрыл глаза. Значит, всё верно. Сентябрь 1599-го. До начала Смуты — меньше года по большому счёту. До голода — два. До того, как по стране пойдут самозванцы и пожары, — не успеть оглянуться.

— А государь у нас кто? — спросил я, хотя знал ответ.

— Борис Фёдорович, — сказал Гришка тише, почти шёпотом. — Годунов.

Он произнёс это имя с осторожностью, как произносят то, что нельзя помянуть всуе. Я кивнул.

Годунов. Значит, род Шуйских уже в опале, и каждая ошибка здесь стоит головы. А я сижу в чужом юном теле, не знаю даже собственного лица по-настоящему и не помню, где нахожусь, — но помню, что будет с этой страной на двадцать лет вперёд.

Это было знание, за которое в этом доме, в этом городе, в этом веке сжигают на костре.

— Гришка, — сказал я. — А где мы?

Он впервые отвёл глаза.

— В городе Шуе, княжич. В родовом дворе. Вы, может, приляжете? Вам бы ещё отлежаться.

Шуя. Глухомань, уезд, подальше от Москвы. Род запер меня здесь, как прячут то, что не должно попасться на глаза. Болезненный дальний родич, от которого ни пользы, ни угрозы. Идеальное прикрытие.

Я посмотрел на свои бледные руки, на тонкие запястья, на отросшие до мяса ногти. Потом на Гришку.

— Зеркало, — сказал я. — Подай зеркало.

Он подал. Я снова заглянул в мутное стекло. Теперь я смотрел на него не как на чудо и не как на кошмар, а как на задачу. Мальчишка лет семнадцати, бледный, больной, с провалами под глазами. Шуйский. Дальний родич будущего царя Василия. Человек, которого история не запомнила.

Человек, у которого нет готовой судьбы.

И вдруг, впервые с момента пробуждения, мне стало легче. Потому что если у Ивашки Шуйского нет судьбы — значит, её можно писать с чистого листа. А у меня, как у учителя истории, впервые в жизни есть то, чего нет ни у кого в этом веке: я знаю, что будет дальше. Надо было только не сгореть раньше времени.

Я заставил себя вернуться к бумагам. Свеча догорала, воск стекал на оловянное блюдо, но света хватало: рука уже привыкла, и буквы складывались в слова, как давно знакомые.

Документы были разномастные. Подрядная на подводы, челобитная какого-то «Ивашки Шуйского», выписка из дозорной книги. Ничего, что объяснило бы, почему я здесь и почему в этом теле. Я перебирал листы, пока под ними не нашёл то, от чего пальцы остановились.

Отдельный кусок пергамента, обтрёпанный по краям, сложенный вдвое. Помянник — список имён для поминовения, столбец за столбцом, писанный ровным, старым почерком. Те имена, что вверху, были знакомы мне по учебникам: князья Шуйские, три поколения, с женами и детьми, — род, который тянулся от Рюрика и вот-вот должен был сгореть в Смуте.

А внизу, отдельно от столбца, другой рукой было приписано одно имя. Чернила другие — чернее, острее. Почерк не писца, а человека, который торопился и давил на перо сильнее нужного. Имя стояло сбоку, наискосок, как вписывают то, что должно попасть в список, но не принадлежать ему.

Я поднёс пергамент ближе к свече.

«Иван, сын Васильев, Шуйской».

Прочёл раз, прочёл второй. Потом отложил пергамент на колени и несколько секунд просто смотрел на огонь.

В помянник вписывают мёртвых. Или тех, за кого молятся за здоровье, — но тогда имена ставят в другой столбец и с пометой. Это же имя стояло так, как ставят за упокой. Ровно среди имён тех, кто уже умер.

Меня вписали сюда заранее. Другим почерком. И, судя по чернилам, не вчера.

Я сидел на лавке в чужом теле семнадцатилетнего болезненного княжича и смотрел на собственное имя, вписанное в список мёртвых рукой человека, которого я не знал. И впервые за эту ночь мне стало по-настоящему страшно. Не от холода и не от чужого лица в зеркале. А от простой, невыносимой мысли: где-то в этом доме, в этом веке, кто-то меня ждал.

Свеча затрещала и погасла. Дым поднялся тонкой струйкой, зашекотал ноздри.

В темноте я сложил пергамент и сунул его за пазуху, к голому телу. Кожа сразу почувствовала жёсткий край.

Стук раздался не в дверь — в ставень снаружи, дробный, три коротких удара. Я вскинул голову.

За окном, забранным мутной слюдой, качнулась тень. Потом мужской голос, вполголоса, быстро:

— Княжич, слышишь? Отвори.

Голос был мне незнаком. Но говорил он по-русски, с окающим выговором, и говорил так, как говорят люди, которые не хотят, чтобы их услышал третий.

Я не отозвался. Встал — тихо, насколько позволяло слабое тело — и отошёл от окна, прижимаясь спиной к холодной стене.

— Иван Васильевич, — снова позвал голос, уже настойчивее. — Свои. Приехал человек из Москвы. До утра ждать нельзя.

Москва. Одно это слово в опальном доме Шуйских пахло не гостем, а приговором.

Я облизнул пересохшие губы и заставил себя думать. Восьмой «Б» на контрольной не списывал у того, кто громче всех предлагает списать. Я помнил это правило и здесь.

— Чего тебе? — спросил я тихо, не подходя к окну.

За ставнем помолчали. Потом голос ответил — и от этих слов у меня похолодели босые ступни:

— Боярыня велела: скажи за околицу, пока дьяк не спросил, отчего это княжич, который два дня лежал в огневице, нынче ночью разговаривает по-писаному.

Я не ответил. Стоял у стены и слушал, как за окном дышит ночь. Слушал, как внутри, под рёбрами, медленно, но верно начинает работать голова, которая не знала этого тела, этого дома, этого века — но знала одно: меня уже засекли.

Я стоял у стены и не дышал. Дощатый пол холодил ступни, рубаха липла к лопаткам, а в ушах всё ещё стояло это «по-писаному». Значит, кто-то слышал, как я читал вслух. Кто-то стоял за дверью, пока я разбирал скоропись, и сделал вывод, за который в этом веке сначала хватают, а потом уже спрашивают.

— Княжич, — позвали снова, уже с досадой. — Не тyani. Ночь коротка.

Я отлепил спину от стены, шагнул к окну, но ставень не открыл. Сквозь щель между рамой и слюдой тянуло холодом и мокрой соломой. Говоривший стоял близко — я слышал его дыхание.

— Боярыня сама тебя послала? — спросил я.

— Она.

— А чего не через дверь?

За окном усмехнулись — коротко, без веселья.

— Потому что у двери нынче чужие уши, вот чего. Ступай через чёрный ход, у коновязи ждёт мерин. Проведу огородами к овину, там и потолкуем.

Я перебирал пальцами край пергамента под рубахой. Жёсткий, настоящий. Помянник с моим именем всё ещё лежал у сердца, и это было единственное, в чём я был уверен: меня ждали. А если ждали — то и дорогу назад, в мой век, кто-то уже выстелил. Или выстелет, когда я сделаю то, за чем меня сюда приволокли.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Некогда, княжич.

— Некогда, — повторил я медленно. — А мне есть когда. Два дня я горел в огневице, ты сам сказал. Что я помню, а чего нет — и сам не знаю. Ты мне не назвался, боярыня твоя лица не показала, а я должен лезть в ночь к овину. С чего мне тебе верить?

Он помолчал. Потом приблизился к самой щели, и голос его стал ниже:

— С того, что дьяк Сысского приказа уже на дворе. Приехал нынче с людьми, сел в горнице, ждёт, когда хозяин очнётся. А спрашивать он станет не про то, как ты кашлял. Он станет спрашивать, откуда у лежачего княжича грамоты на столе.

Я медленно выдохнул.

Грамоты. Которые я, дурак, перебирал при свече, которые оставил на виду. Челобитная Ивашки Шуйского. Подрядная. Если дьяк их увидит — а он увидит, за тем и приехал, — вопросы начнутся не с «как здоровье», а с «чей почерк на листах».

И я не знал, чей. Я не знал ничего.

— Хорошо, — сказал я. — Уходи от окна. Считай до двадцати и жди у чёрного хода.

Шаги отдалились, зашуршали по соломе. Я досчитал до пяти, вернулся к столу, сгрёб бумаги в стопку — быстро, как собирают улики, — и сунул их под тюфяк. Сверху прикрыл рядом.

Потом я встал перед мутным зеркалом, поправил ворот рубахи, провёл ладонью по лицу. Чужое лицо. Юное, бледное, с тёмными глазами, в которых сейчас горел не жар болезни, а страх и азарт пополам.

— Ну, Ивашко, — сказал я своему отражению одними губами. — Пойдём посмотрим, кто там приехал твою смерть сторожить.

Глава 2

Я сдёрнул с гвоздя у двери дерюжную однорядку, накинул на плечи. В сундуке, под ворохом тряпья, нашлись сапоги — мягкие, стоптанные, по ноге пришились как литые. Чужое тело знало эту обувь лучше меня: пальцы сами легли в носок, пятка встала на место. Я подпоясался верёвкой потуже и вышел в темноту.

Чёрный ход оказался низкой дверцей в конце перехода. Провожатый ждал снаружи — я угадал его по парному дыханию над плечом. Лица не разглядел. Он молча развернулся и пошёл, и я пошёл следом, держась на шаг позади.

Ночной двор пах мокрым деревом, золой и конским навозом. Где-то справа всхрапнула лошадь. Собаки не лаяли — и это царапнуло меня сильнее, чем сам побег: если на дворе чужие люди, а псы молчат, значит, человек, который меня ведёт, либо свой до последней кости, либо успел задобрить сторожевых. И то и другое было одинаково подозрительно.

Мы перелезли через плетень. Рубаха зацепилась за кол, треснула у плеча. Я спрыгнул в капустные гряды, холодная ботва хлестнула по сапогам. За огородом начинался выгон, поросший мокрой лебедой. Провожатый шёл быстро, не оборачиваясь, но на каждом повороте придерживал ветку, чтобы не ударила меня. В этой заботе было что-то хозяйское, и оттого становилось ещё тревожнее.

Овин стоял у самой околицы, чёрный на фоне чёрного неба. Провожатый остановился у приоткрытой двери и впервые повернулся ко мне.

— Здесь переждём. Дьяк до утра с места не сдвинется, а нам свет не нужен.

Я не вошёл. Встал так, чтобы за спиной было открытое поле, а не стена.

— Ты сказал — человек из Москвы приехал. Кто он?

— Дьяк Сысного приказа, — ответил провожатый негромко. — Семён Годунов. Родня государева, хоть и дальняя. С ним трое: писчик да двое в саадаках. Сели в горнице, будто на постой, а сами слушают.

— Чего им слушать? — спросил я. — Я лежал без памяти.

Он качнул головой:

— Ты и сейчас без памяти, княжич, да только они того не знают. А слушать есть чего: боярыня твоя давеча послала девку в Шую за лекарем, а девка по дороге языком молола, что княжич, дескать, в бреду встал и начал по-писаному читать. Слово за слово — к утру и доказалось до подворья, где дьяк ночевал.

Я вспомнил, как шевелил губами над челюбитной. Как читал вслух — один, в каменной клетушке. Мне казалось, меня никто не слышит. А выходило, что слышал весь дом.

— И что с того? — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. — Мало ли что больной в жару бормочет.

— Бормотать — мало ли. А читать скоропись, которой княжича Ивана, прости, княжич, и в добром-то здравии учили через пень-колоду, — это не бормотание. Дьяк — не лекарь. Он по бумагам работает. Приедет, разложит на столе грамоты, спросит: кто писал, откуда привезли. А тебя уже нет. Вот и весь ответ.

Он говорил складно, слишком складно для холопа, которого приставили к дверям. Я смотрел на его тёмную фигуру и понимал: меня подводят к мысли, что бежать — единственный выход. А раз подводят, значит, бежать как раз и нельзя.

— А боярыня где? — спросил я. — Почему сама не пришла?

— Лежит. У неё с вечера сердце прихватило. Велела тебя увести, пока не поздно.

Я сделал шаг назад.

— Тогда ступай. Скажи боярыне, что я вернулся в дом.

Он замер. Потом его рука легла мне на предплечье — мягко, но цепко, как кладут на поводья.

— Не дури, княжич. Дьяк тебя в железа возьмёт до утра. У него и грамоты с собой, и люди на дворе. Вернёшься — не выйдешь.

— А с чего ты взял, что я должен куда-то выходить? — спросил я. — Я болен. Два дня лежал в огневице. Встану утром, выйду к дьяку, покажу руки, покажу горницу. Бумаги, которые ты видел, — пустые росписи, хозяйское. Пусть спрашивает.

Провожатый молчал. Потом убрал руку.

— Смотри, княжич. Тебе жить.

Он развернулся и шагнул к овину. И тут я увидел то, что должен был увидеть сразу: за приоткрытой дверью, в глубине, где я думал, что чернота, чернота шевельнулась. Там был кто-то ещё. Третий.

Я попятился.

— Стоять, Иван Васильевич, — сказал из овина новый голос, негромкий, спокойный, как у человека, который привык, что его слушаются. — Ночь длинная, а нам с тобой есть о чём поговорить до петухов.

Провожатый не обернулся. Он стоял чуть в стороне, опустил руки, и я понял, что обратной дороги по огороду, через плетень, в тёплую клетушку с догоревшей свечой, у меня уже нет.

Тогда я сделал то, чему меня учил восьмой «Б»: перестал пятиться и поднял голову.

— Ну, — сказал я. — Говори.

Человек вышел из овина не сразу. Сначала в проёме обозначился его силуэт — выше моего, кряжистый, в длинном плаще с капюшоном, надвинутым низко. Потом он шагнул вперёд, и лунный свет лёг на седую бороду, на глубокую складку между бровей. Он смотрел на меня, как смотрят на часы, которые остановились: с досадой и надеждой разом.

— Ну что, признал? — спросил он.

Тело ответило раньше головы. Что-то под ложечкой ёкнуло, колени сами попросили согнуться, язык нащупал слово, которое я не выбирал. Я удержал себя, но поздно: он увидел это движение, и улыбка тронула его губы — короткая, без тепла.

— Не признал, — сказал он сам. — А тебя, княжич, признать можно. Только не тем, кем ты был.

Я молчал. Провожатый стоял сбоку, опустил голову, и теперь было ясно, кому он служит на самом деле.

— Кто ты? — спросил я.

— Фома. При покойной княгине ходил в дядьках, потом к Москве приставлен. Ты меня с пелёнок знал. А теперь вот стоишь и не знаешь.

Он перекрестился мелко, не глядя в угол, — привычка человека, который делает это чаще от беды, чем от веры.

— Я приехал раньше дьяка, — продолжал он. — Двое суток гнал. Знал, что за тобой пришлют, да не чаял, что так скоро. Семён Годунов нынче в горнице сидит, ждёт, покуда хозяин очи откроет. А хозяин, выходит, уже очи открыл и по огородам бежит.

Он кивнул на мои босые щиколотки, торчавшие из стоптанных сапог, на разодранное у плеча рубашу.

— В дом нельзя, — сказал я.

— Нельзя, — согласился он. — Потому тебя сюда и вели. Переправимся за реку до света, к верным людям. А там решим.

Я смотрел на него и думал о другом. О грамотах, которые я, как последний дурак, сунул под тюфяк. Если дьяк их найдёт, не поможет ни бегство, ни заступничество. А если я вернусь — дьяк увидит лежачего княжича, который два дня горел в огневице, но сидит у стола и читает по-писаному. И то и другое пахло плахой.

— Что ты ему скажешь, когда хватятся? — спросил я.

— Скажу, что княжич сбежал от лихорадки, разумом помешался. Это не диво. Дьяк пошумит, посидит и уедет. А ты к утру будешь далеко.

— Врёшь, — сказал я спокойно. — Дьяк не за тем приехал, чтобы пошуметь. Он приехал с людьми, с писчиком. Такие не уезжают, пока не увидят тело.

Фома посмотрел на меня долгим взглядом. В лунном свете лицо его было как из тёмного дерева, всё в морщинах, и только глаза блестели живо.

— А ты, княжич, поумнел, — сказал он. — Даже не поумнел. Прозрел.

Он помолчал, взвешивая что-то.

— Дьяк знает, что ты не простая хворь. Не сам знает — бумага ему сказала. В Москве перехватили гонца, а у гонца грамотка: писано, что у Шуйских объявился родич, которого в книгах не было. Дальше — не моё дело. Моё дело — вывезти тебя, пока он не вытряс из боярыни, чей ты сын на самом деле.

Я вдохнул сырой ночной воздух. В голове складывалась картинка, холодная, как камни в моей бывшей клетушке. Сыскной приказ приехал не за крамолой. Он приехал за мной. За телом, которое род прятал, как прячут то, что не должно попасть в книги.

— И куда ты меня повезёшь? — спросил я.

— За реку, к Тезе. Там мельница, а при ней человек, который должен тебя увидеть. Он ждёт.

— Кто ждёт?

Фома шагнул ближе. Провожатый отступил на шаг, давая нам говорить, но я кожей чувствовал, что он слушает каждое слово.

— Тот, кто тебя выписал, — сказал Фома тихо. — Не спрашивай больше, княжич. До петухов не успеем.

«Тот, кто тебя выписал». Я вспомнил пергамент, который всё ещё лежал у меня за пазухой. Имя, вписанное в помянник чужой рукой. Меня ждали. И вот теперь за мной пришли с двух сторон: дьяк в горнице и этот человек с мельницы, который «выписал» меня, как выпи-сывают рецепт или приговор.

Мне стало ясно, что бежать с Фомой — значит уйти в лапы того, кто меня выписал. А вернуться — в лапы дьяка. Оба пути вели к хозяину. Разница была в том, что первого я хотя бы не знал, а второй уже знал меня.

Я поднял голову и заставил голос звучать ровно:

— Я вернусь в дом.

Фома не удивился. Он только переспросил, и я понял, что он ждал от меня этого.

— К дьяку?

— К дьяку. Я лежал два дня. Встану, шатаюсь, и выйду к нему. Ты поможешь.

— Чем?

— Скажешь правду. Что княжич с вечера поднялся, что его знобит и мутит. Что он сам не свой. Это все в доме знают. А дальше — пусть дьяк спрашивает. Больной — не ответчик.

Фома усмехнулся в бороду:

— Дьяк Семён таких, как ты, на бумаге гнёт не хуже, чем палач на дыбе. Он спросит, а ты и не заметишь, как сам себя выдашь.

— А ты не дай, — сказал я. — Стой рядом, поправляй меня. Ты меня с пелёнок знал. Вот и напомни мне всё, что я должен знать.

Он смотрел на меня с минуту. Потом снял капюшон, и седые волосы рассыпались по плечам.

— Слушай, княжич. Раз уж ты прозрел, то слушай крепко. Твоя мать, боярыня Анна Никитична, лежит у себя, при ней мамка. Тебя зовут Иван Васильевич, по отцу Василию Ивановичу, из рода Шуйских, дальней муромской ветви. Ты с детства был слаб грудью, нынче лето

перележал в огневице. Дьяку говори: отец твой умер в прошлом году, мать вдовствует, ты при ней единственный сын. Всё. Больше не знаешь ничего.

— А грамоты? — спросил я. — На столе у меня лежали.

Фома нахмурился:

— Какие грамоты?

— Росписи, челобитная, выписка из дозорной книги. Я их под тюфяк сунул.

Он выругался сквозь зубы — коротко, по-холопски, без княжеской оглядки.

— Дурень. Дьяк первым делом по лавкам шурует. Найдут — пришьют, что ты в жару не лежал, а бумаги перебирал.

— Потому и вернусь, — сказал я. — Найдут — значит, при них. А если меня нет, найдут без меня, и тогда толковать некому.

Он подумал. Провожатый переступил с ноги на ногу, не поднимая глаз.

— Хорошо, — сказал Фома. — Вернёмся. Но если дьяк поведёт тебя с двора, я вступлюсь. И тогда уже поедем за реку, хочешь ты или нет.

Я не ответил. Я думал о том, что у меня под рубахой, у самого сердца, лежит пергамент с моим именем в списке мёртвых. Если дьяк найдёт его — не спасёт никакая болезнь.

Фома подал мне знак, и мы пошли назад, через огород, к тёмному дому, где в горнице горела свеча и сидел человек, приехавший смотреть, как я умираю.

Фома довёл меня до чёрного крыльца и растворился в тени. Я вошёл в дом один. В переходе пахло кислыми щами, остывшей печью и сырой шерстью. Где-то капала вода. Я поднялся на негнущихся ногах, отворил дверь в горницу и замер на пороге.

Дьяк сидел за столом, спиной к печи, и перебирал бумаги. Он был моложе, чем я нарисовал себе по голосу: лет сорок пять, сухое лицо, узкая борода, расчёсанная на две стороны. Кафтан тёмный, добротный, но без шитья, как у приказного, который не хочет, чтобы его путали с боярином. У локтя горела свеча. Писчик сидел у стены с вощаницами на коленях и не поднимал глаз.

— Вот и хозяин, — сказал дьяк, не вставая. Голос у него был ровный, глуховатый, как у человека, который говорит с бумагой чаще, чем с людьми. — Проходи, княжич. Садись. У тебя, сказывают, огневица была, негоже на ногах стоять.

Я прошёл и сел на лавку напротив. Старался шагать как человек, которого держит чужая сила, а не как тот, кто час назад бегал огородами.

— Благодарствую, — сказал я. Голос сел, пришлось прочистить горло. — Только встал. Не обессудь, дьяк, за вид.

— За вид прощаю, — он улыбнулся одними губами. — Меня Семёном Годуновым звать. Еду в Ярославль по государеву делу, а по дороге велено было справиться о здравии княжича Шуйского. Слух до Москвы дошёл, что ты тяжело лежишь.

— Лежал, — сказал я. — Нынче полегчало.

— Вот и славно. А то род Шуйских нынче беречь надобно. Старых родов мало осталось.

Он говорил мягко, почти по-родственному, и от этой мягкости у меня сводило скулы. Я видел, как он смотрит: не в лицо, а по сторонам — на мои руки, на ворот рубахи, на стол, где ещё вчера лежали грамоты, а теперь пусто.

— Спрашивай, дьяк, — сказал я. — Я человек простой, больной, мне скрывать нечего.

— А я и не говорил, что ты скрываешь, — он поднял бровь. — Вот разве что спрошу: кто тебя грамоте учил?

Я не дрогнул. Ждал этого.

— Дьяк. Батюшка учил, покойный Василий Иванович. Читать умею, писать худо.

— Читать, стало быть, умеешь, — он достал из рукава сложенный вчетверо лист, развернул и подал мне через стол. — Прочти-ка мне это, сделай милость. Глаза у меня слабые, а писчик свечу не с того боку держит.

Я взял лист. Руки, как назло, не дрожали — я их занял. Это была проезжая грамота, писанная полууставом, казённым почерком, с титлами и выносными. Я мог бы прочесть её с листа, как читают газету. Но я был семнадцатилетний княжич, который два дня горел и которого грамоте учили «через пень-колоду».

— «Лета семь тысяч... сто осьмого...» — начал я, шурясь и ведя пальцем по строке, как водят дети. Споткнулся на слове «по... по государеву... указу... иду... идущему...» — и закашлялся, отводя лист от свечи. — Прости, дьяк. В глазах плывёт. Жар, видать, ещё сидит.

Он смотрел на меня, не мигая. Потом мягко забрал лист.

— Ты, княжич, в жару-то, говорят, почище моего писчика разбирал. Скоропись читал. Росписи, челобитные. Голосом, внятно. Люди слышали.

Я молчал. В горнице стало слышно, как за окном скрипит ветряк.

— Люди много чего в жару слышат, — сказал я. — Кто тебе сказывал?

— Добрые люди, — он откинулся к стене. — А что, не было такого?

— Не помню. Два дня горел, дьяк. Что в бреду болтал — не ведаю. Может, и поминальное что читал, кто меня знает.

Семён Годунов помолчал. Потом подался вперёд и поставил локти на стол.

— Тогда скажи мне без бреда, княжич, отчего ты нынче ночью вставал и ходил к овину.

У меня внутри всё оборвалось, но лицо, чужое лицо, не выдало.

— Ходил. Душно мне в горнице, воздух хотел. Вышел к овину, постоял, вернулся.

— Один?

— Один.

— А Гришка твой говорит, что ты с человеком говорил. И тот человек тебя огородами вёл.

Я посмотрел ему в глаза впервые прямо.

— Гришка пусть сам и отвечает, с кем он говорит. Я его нынче не видел. А к овину ходил один, и никого со мной не было.

Дьяк выдержал паузу. Взял со стола перо, повертел в пальцах, положил.

— Хорошо, — сказал он. — Допустим. Тогда последнее, княжич, и я уеду. Скажи мне, кто тебя выходил от огневицы.

— Мать. Боярыня Анна Никитична. И холопы.

— И только?

— И только.

Он кивнул, будто соглашаясь. Потом встал, одёрнул кафтан и сделал знак писчику собираться. У самой двери обернулся.

— А ведь врёшь ты, княжич, складно. Только врут обычно те, кому есть что терять. Я таких за версту чую. Ты не серчай: я по службе приехал, не по злобе. Поеду я. А ты поправляйся. И грамоты свои сожги.

Он вышел. Я услышал, как во дворе заржала лошадь, скрипнула телега. Потом женский голос — тихий, молодой — что-то спросил снаружи, и дьяк ответил: «Садись, Анна. Нечего глазеть».

Я подошёл к оконцу. Сквозь мутную слюду увидел, как у ворот мелькнул тёмный платок и бледное лицо, повёрнутое к дому. На секунду мне показалось, что она смотрит прямо на меня. Потом телега тронулась, и улица опустела.

Я стоял у окна и не мог отвести взгляд от пустых ворот. Дьяк уехал, но я знал: он вернётся. А за ним, в телеге, уехало то, что будет стоять мне дороже всех бумаг этого века. Я еще не мог себе представить, в гуще каких событий придется мне оказаться.

Глава 3

Я отошёл от оконца. Слюда ещё держала бледный отблеск уехавшей телеги, но улица за воротами была пуста, и только колодец во дворе скрипнул под ветром — или под рукой человека, который меня ждал.

Фома стоял у сруба, слившись с темнотой. Я подошёл, не таясь.

— Уехал?

— Уехал. Гришку оставил. Тот дурак и сам не понял, что дьяк его к себе прикупил: будет теперь про тебя доносить, как дворовый пёс на цепи.

— Значит, в дом мне ходу нет.

— Дошло наконец.

— Давно дошло, — я остановился против него. — Я считал, сколько у меня ходов. Два. Оба в чужую волю: с тобой за реку, к мельнице, или остаться и ждать, пока дьяк меня на бумаге согнёт.

— Третий есть, — сказал Фома тихо. — В Москву.

Я смотрел на его тёмное лицо.

— Туда и дьяк едет.

— Вот и ладно. У государевых ворот беглых не ищут — туда они сами не суются. А дьяк Семён в Москве шума боится: ему всё по бумагам, тихо надобно. В столице ты затеряешься.

Москва. Я перекачивал это слово, как монету. Там Годунов. Там Шуйские. Там Романовы, которых я ещё не спас и которые меня ещё не предали. Там всё, что я знаю о будущем и во что уже не могу не лезть.

— А мать? — спросил я.

— Боярыня тебя сама в дорогу собирала. С вечера слегла, а мне слово дала: довезу. Не впервой мне твой род в Москву водить.

«Сдадут с рук на руки», — подумал я, но вслух не сказал. Мельница у Тезы — тупик, из которого не выйдешь по своей воле. Москва — простор. Разница есть.

— Согласен. Только в дом зайду.

— Зачем?

— Дьяк велел грамоты сжечь. Я их сожгу.

Он глянул на меня долго, потом кивнул:

— Умно. Иди, только не засиживайся. До света надо за околицу.

Я вошёл чёрным ходом. Дверь в клетушку была приотворена. Я отворил её, встал на пороге.

В комнате было темно, только лампада у образа теплилась красным. На лавке у стены сидела женщина. Я не сразу её разглядел: она не спала, смотрела на меня, сцепив руки на коленях.

— Иванушка, — сказала она. Голос был тихий, надтреснутый, как у человека, который долго молчал.

Тело узнало её раньше меня. Колени опять попросили согнуться, в горле встал ком. Я шагнул к ней и сел на лавку рядом, потому что иначе упал бы.

— Матушка, — сказал я чужим голосом, и слово это далось легко, будто я произносил его тысячу раз.

Она подняла руку, коснулась моей щеки. Пальцы были сухие и горячие.

— Скажи, что я не во сне, — прошептала она. — Скажи, что ты живой.

— Живой, матушка.

Она смотрела на меня, и в её глазах стояли слёзы, но не текли. Я вдруг понял, что она знает. Не про Макса, не про перенос — про то, что сын её изменился, что за этими глазами теперь кто-то другой. И всё равно держала меня за руку.

— Фома говорит, в Москву тебе, — сказала она. — Надёжа там... нет, не надёжа. Но здесь тебе смерть. Я так и не научилась выбирать меньшее зло.

— Я научусь, — сказал я.

Она покачала головой:

— Не надо этому учиться, Иванушка. Это дурная наука.

Я не нашёл, что ответить. Она сняла с шеи медный крестик на гайтане и надела на меня. Металл был тёплый от её тела.

— Отец твой, покойный, в Москву без этого не ездил, — она поправила гайтан, чтобы крестик лёг под рубаху. — И ты не ездил.

Я накрыл её руку своей. Пальцы слушались плохо, но этот жест тело знало.

— Грамоты, — сказал я. — Под тюфяком лежат. Сжечь надо.

— Я сама, — она отпустила меня. — Иди собирайся. Фома ждать не любит.

Она встала и пошла к лавке, где лежал тюфяк, и я увидел, как тяжело она двигается, как держится за стену. Сердце у неё и вправду было плохое. Я хотел помочь, но она махнула рукой, не оборачиваясь:

— Ступай.

Я вышел. У чёрного хода меня уже ждал Фома, а рядом с ним стоял конь — невысокий, тёмный, с набитыми сумами. Второго коня не было.

— Пешком пойдёшь, — сказал Фома, заметив мой взгляд. — Так безопаснее. До Шуи дорога своя, ночная.

— Пешком так пешком.

Он дал мне дерюжный армяк и заячий треух, велел натянуть. Сам взял коня под уздцы и пошёл к плетню.

У калитки я обернулся. В клетушке, где я пролежал два дня, окно ещё светилося лампадой. Я подумал о женщине, которая только что назвала меня живым, и о другой женщине — из той жизни, где меня звали иначе. Её лицо я ещё помнил, но уже чувствовал, как оно отдаляется, как сон после пробуждения. Первым, что стирается, всегда бывает лицо. Я этого тогда не знал — только чувствовал.

— Идём, — сказал Фома.

Я перешагнул через порог и пошёл в темноту.

Шли до рассвета. Сначала огородами, по мокрой лебедке, потом вышли на просёлочную дорогу, разбитую телегами, и Фома пустил коня шагом, а я шагал рядом, держась за луку седла. Ноги скоро налились тяжестью — чужое тело было слабое, как щенок, и я то и дело сбивался с шага. Фома на это не глядел, только иногда придерживал коня.

За околицей небо начало сереть. По сторонам потянулись озимые, чёрные от росы, вдали встал еловый клин. Я впервые за эти дни увидел землю, по которой мне предстояло жить: не из книжки, не из летописной строки, а вот так — под ногами, с грязью, с запахом мокрого зерна и печного дыма от невидимой деревни.

— Ты что, княжич, впервой в телеге не ездил? — спросил Фома, не оборачиваясь.

— В какой телеге?

— Ноги у тебя идут, как у приказного, который всё по городу пешком. Крестьянину до Шуи — два часа ходу, а ты уже язык на плечо. Держись за седло крепче и не считай вёрсты.

Я не стал спорить. Просто переставил ноги и пошёл ровнее, подлаживаясь под шаг коня. На развилке Фома остановился. Достал из сумы краюху хлеба, разломил, половину сунул мне.

— Ешь. До Шуи не сядем.

Хлеб был чёрный, с песком, но тело его приняло с жадностью. Я жевал и думал о том, что в прежней жизни я о такой дороге рассказал бы ученикам как о «быте эпохи»: вот, мол, хлеб с золой, вот сапоги с чужой ноги, вот холод до костей. А теперь этот быт был мой, и оттого, что он мой, он перестал быть бытом. Он стал просто жизнью, в которой холодно и хочется есть.

К Шуе подошли, когда совсем рассвело. Город открылся за излучиной: рубленые стены посада, шатровые верхи церквей, дымы над избами. У ворот уже толпился народ — возы с дровами, торговки с лукошками, мужик с гусем под мышкой. Стрельцы пропускали без спешки, глядя сонно.

— Опустит глаза, — негромко сказал Фома. — И молчи. Здесь каждый третий знает Шуйских в лицо.

Я надвинул трюх ниже, втянул голову в армяк. Мы прошли ворота, мимо стрельца, который даже не глянул. По узкой улице текли ручьи грязи, телеги вязли по ступицу.

Фома свернул в проулок и подвёл меня к заднему крыльцу какого-то подворья. Стукнул три раза, с оттяжкой. Долго не открывали. Потом дверь приоткрылась на вершок, и сиплый голос спросил:

— Кого бог принёс?

— Своих, — сказал Фома. — Скажи Степану: Фома с Муромской стороны, княжич при нём.

Дверь затворилась. Я стоял у крыльца и смотрел, как на заборе сидит мокрый петух и не поёт. Хотелось спать, но сон был далеко — как всё, что я оставил.

Наконец дверь отворилась шире. Нас впустили в полутёмный чулан, оттуда — в клеть, где пахло сушёной рыбой и старым мёдом. Хозяин, низкий мужик с обвислыми усами, глянул на меня раз, другой, перекрестился.

— Входите, гости. Вода тёплая есть, щи вчерашние. Только сидите тихо.

Он ушёл, а Фома сел на лавку, вытянул ноги и впервые за дорогу закрыл глаза.

— Спи, — сказал он. — Сейчас не тронут.

Я сел в угол, привалился к стене. Сон не шёл. Перед глазами стояла та женщина у оконца — как она подошла к воротам, как повернула лицо к дому, тёмный платок, бледная скула. Анна. Я знал это имя раньше, чем услышал его из телеги. И знал, что оно уже вписано в мою жизнь, как моё собственное имя было вписано в помянник мёртвых.

Разбудил меня Фома. Толкнул в плечо, сунул в руки ковш воды.

— Пей. И слушай.

Он сел напротив, наклонился близко.

— Дальше пойдём по-другому. Ты — сын боярский с Муром, едешь в Москву бить челом о поместье. Я — твой дядька. Бумаги Степан правит, к вечеру будут. Завтра встанем до света и с обозом пойдём: со своими меньше глаз.

— А если дьяк по дороге? — спросил я.

— Дьяк в Ярославль едет. Нам с ним не по пути. А вот люди его могут. Потому и обоз.

Он помолчал, глядя в тёмный угол.

— И вот ещё что, княжич. Я тебя до Москвы доведу, а дальше — как Бог даст. Скажу прямо: не люблю я твою затею. Ты в Москве — как мышь в житнице, и дьяк тебя там быстрее найдёт. Но боярыне я слово дал, а слово моё крепче страха.

— Спасибо, Фома.

— Не благодари. Благодарность в дороге — та же обуза.

Он встал и вышел, оставив меня с ковшом в руках. Вода была тёплая, с привкусом болотной ржавчины. Я выпил всё, до дна.

К вечеру Степан принёс бумаги: две грамоты, писанные начерно, с вислыми печатями, подправленными так, чтобы издали сошли за настоящие. Я пробежал их глазами по привычке — и осёкся, вспомнив, кто я теперь. Фома заметил.

— Читаешь, — сказал он негромко.

— Учусь.

— Учишься ты больно споро. Дьяк за это и уцепился. Гляди, княжич, чтобы и в Москве так не вышло.

Я сложил грамоты, сунул за пазуху рядом с пергаментом. Два листа, и оба — обо мне. Один делает меня сыном боярским с Муром. Второй — мёртвым княжичем из помянника. Между ними и есть моя жизнь.

Ночь пересидели в клету. Я не спал, слушал, как за стеной возятся крысы, как храпит хозяин, как где-то далеко, у реки, перекликаются караульные. Под утро встали, умылись у колодца и пошли к обозу.

У реки уже грузили возы — рогожи, мешки с солью, бочки. Фома поговорил с обозным старостой, сунул ему что-то в руку, и тот кивнул, махнул нам на телегу с рогожей.

— Лезьте. Только без разговоров.

Я забрался на воз, лёг на тюки. Сверху Фома накрыл меня дерюгой.

— Лежи. Как тронемся — и спи. В Москву приедем, сам заметишь.

Обоз двинулся, когда солнце уже встало. Я лежал под дерюгой, смотрел в небо сквозь дыру в рогоже и слушал, как скрипят колёса, как хрипло ругается возчик, как далеко, за рекой, ударил колокол — не к обедне, а по кому-то, по чьей-то отпетой душе.

И я вдруг подумал, что впервые за эти дни еду не прочь от чего-то, а к чему-то. Это было новое, почти незнакомое чувство. Может быть, так и начинается дорога, которую потом назовут судьбой.

К Москве подошли на шестой день, к вечеру. Обоз шёл вёрст по тридцать в сутки, оставившись у погостов, ночевали под рогожей, и я уже не помнил, каково это — не слышать скрипа колёс. Фома всю дорогу молчал, смотрел по сторонам, как человек, который знает, где в колее лежит камень, а где — мёртвое место. Меня он не трогал, только раз, когда я у костра поднял лучину, накрыл мне руку своей и тихо сказал:

— Не читай огнём. Огонь и бумагу, и человека выдаёт.

Я с тех пор просто лежал и смотрел на небо.

За Клязьмой начались места, которые я знал по картам, но карты здесь были ни к чему. Москва подходила к нам не стенами — сначала запахом. Задолго до города в воздухе появилась гарь, смешанная с чем-то кислым, дёгтем, сырым дымом, и ещё — сладковатым духом гниющих пристаней. Потом над лесом встало зарево, ровное, как от печи, в которой топят целый мир. А потом из-за холма открылись башни.

Я смотрел и не мог свести одно с другим. В прежней жизни я двадцать раз показывал ученикам реконструкции: Кремль, Китай-город, Белый город. Я знал, где какая башня и под каким годом. Но то, что я увидел теперь, не было реконструкцией. Это был город, живой, как зверь, который дышит и смердит. Кремль стоял белый, выбеленный по кирпичу, а не красный, как на картинках в школьных учебниках. Я чуть не выругался от неожиданности, и Фома глянул на меня.

— Чего встал?

— Давно не видел, — сказал я, и это было чистой правдой.

— Дак смотри, да недолго. Нам до ворот засветло.

Въехали через Арбатские ворота, и тут Москва навалилась на меня вся разом. Я ждал города, а это было варево. Улицы — кривые, стиснутые заборами, в три изгиба; тесно стояли избы, у каждой над крышей — дым, как борода. Мостовые были только в казённых местах, а тут грязь месили до колена, телеги вязли по ступицу, бабы перебирались через топь по жердям. И поверх всего — колокольный звон, не праздничный, а житейский, частый, будто город всё время с кем-то прощался и кого-то встречал.

Я вглядывался и ловил себя на том, что сравниваю не с учебником, а с телом: камень здесь был не тот, что я знал, — белый, пористый, в цоколях церквей; дерево тёмное, кондовое, в пазах мох. Собор Покрова на рву, который через триста лет назовут храмом Василия Блаженного, был ещё молодой, главы его горели на закате, и я не сразу поверил, что ему от роду меньше полувека. Для меня он всегда был стариной. А здесь он стоял как новостройка, и на паперти ещё спорили, сколько ему стоять.

У Смоленского рынка обоз стал. Фома расплатился со старостой, вытащил меня за рукав из-под рогожи.

— Дальше пешком. Здесь людское море, в нём и потеряемся.

Мы пошли. Я смотрел по сторонам и забывал, куда иду. На торгу кричали разносчики, воняло рыбой, капустой, мокрым лыком, потными лошадьми. В толпе мелькали иноземцы — немцы в коротких платьях, англичане с суконными лицами, татары в стёганных кафтанах. Стрельцы у Лобного места стояли с бердышами, и один сплюнул мне под ноги, не глядя. Никто на нас не смотрел. Москва жила своей жизнью, и мы были в ней пылью.

Только у Кремлёвского рва я остановился. Через ров был перекинут мост, на той стороне — белая стена, а за ней, над кромкой, я угадывал маковки соборов. Я знал: там, за этой стеной, через несколько лет всё и решится. Годунов умрёт в этих покоях. Лжедмитрий войдёт в эти ворота. Шуйский выйдет отсюда на плаху, которую сам же, моими руками, приблизит. И я стоял в грязи перед этим всем, как человек, который знает текст пьесы наизусть, но не знает своей реплики.

— Княжич, — позвал Фома негромко.

Я обернулся. Рядом с ним стоял человек в добром суконном кафтане, сухой, с жидкой бородой, и смотрел на меня так, как смотрят на должника, явившегося без денег.

— Вот он, — сказал Фома. — Довёз. Принимай.

Человек оглянулся по сторонам, потом поклонился мне коротко, в пояс, не по-холопски, а по-приказному.

— Здрав будь, Иван Васильевич. Меня к тебе от дяди твоего, Василия Ивановича Шуйского, прислали. Поживёшь пока на подворье, на Арбате. Там и слово молвим.

— Кто ты? — спросил я.

— Зови Гаврилой. Я при дворе Василия Ивановича встряпчик хожу.

Фома отступил на шаг, сунул мне в руку узелок — тот самый, что нёс от Шуи.

— Здесь крестик матушкин, смена белья и полтина. Дальше — не мой путь, княжич. Меня боярыня за тобой до Москвы ставила, а в Москве у тебя своя родня.

Он перекрестил меня, не глядя в глаза, и растворился в толпе, будто и не было. Я остался стоять с узелком в руке, среди чужого гомона, перед Гаврилой, который уже развернулся и пошёл, не сомневаясь, что я пойду следом.

Я пошёл. Москва сомкнулась за мной, как вода вслед за брошенным камнем.

Подворье на Арбате оказалось не тем, что я ждал от опального рода. С улицы — глухой забор, ворота с облупившейся известью, над ними — доска с выцветшим Георгием. Внутри — два порядка клетей, конюшня в три стойла, колодец под навесом. Ни лишнего холопа, ни лишней свечи. Так живут, когда хотят, чтобы о тебе забыли.

Гаврила провёл меня в заднюю половину — узким переходом, где пахло пылью и старым деревом. Дверь отворилась легко, без скрипа. Внутри было полутемно, только из-под потолка сочился мутный свет. Он пропустил меня вперёд, кивнул на рукомой в углу, где уже стоял глиняный таз с водой. «Умойся с дороги и жди», — сказал он, не глядя мне в лицо. Потом постоял ещё мгновение, будто прикидывая, не сорвусь ли я с места, и вышел. Дверь за ним закрылась, и я остался один в тишине, которая показалась мне громче уличного гомона.

Я сел на лавку, не сразу, — сперва сбросил с плеча ремень, потом опустился на край. Доска подо мной скрипнула, и я на миг замер, прислушиваясь, не идёт ли кто по переходу. В

доме было тихо, только где-то за стеной капала вода. Узелок развязал медленно, расправил на коленях тряпицу. Матушкин крестик вынул первым, положил на стол, к мутному свету из-под потолка, и на секунду задержал на нём пальцы. Бельё оказалось чужое, но чистое, без заплат, пахло слабым мылом. Полтина лежала в отдельной тряпице, крохотная, стёртая по краю, как последний зуб во рту.

Ждал я недолго. За дверью зашуршали шаги, и вошёл Василий Иванович Шуйский.

Глава 4

Я узнал его не по портретам — портретов таких ещё не писали. Узнал по повадке: он вошёл не как хозяин, а как человек, который боится, что дверь за ним подслушивает. Сначала заглянул, потом переступил порог, потом притворил створку и прижал к ней ладонь, проверяя, плотно ли.

— Сядь, — сказал он мне, хотя я уже сидел.

Он опустился напротив. Был он невысок, сух, с рыжеватой бородой, в которой уже серебрилась седина. Глаза — светлые, цепкие, без тепла. Смотрел он на меня так, как смотрят на грамоту, которую получил, но ещё не прочёл.

— Живой, — проговорил он наконец. — А я уж и не чаял.

— Здравствуй, дядя, — сказал я.

— Здравствуй, Иван Васильевич. — Он не назвал меня Иванушкой. — Рассказывай, как доехал.

Я рассказал коротко: дьяк Семён Годунов, телега, Фома, обоз. Про грамоты под тюфяком не стал — это было моё.

Он слушал, не перебивая, только пальцы его всё время что-то щупали на краю стола — то ножку ковши, то сгиб скатерти.

— Дьяк этот, Семён, — заговорил он, когда я замолчал, — не просто следователь. Он из тех, кто ищет не вину, а знание. Вину-то на любого навести можно, а вот знание — оно в цене. Зачем ты ему понадобился, не понял?

— Понял. Я стал слишком грамотным для больного княжича.

Василий Иванович хмыкнул:

— И это тоже. А ещё он чует, что ты не тот, кем кажешься. И я чувую, Иван. Ты не тот, кого я в Шую отправлял три года назад.

Он смотрел мне в глаза. Я выдержал взгляд.

— А кто тот? — спросил я тихо.

— Тот был тень. Его и звали Иван, да только человека в нём не было с самого рождения. Отец твой знал, на что шёл. И я знал.

Он откинулся к стене, сложил руки на животе.

— Договор, — сказал я.

Пальцы его замерли.

— Что ты помнишь о договоре?

— Ничего, — соврал я. — Помню, что должен помнить.

Это была правда и неправда разом. Я не помнил договора — я знал про него из обрывков чужой памяти, из намёков матушки, из того, что тело моё было пусто. Но Василию Ивановичу выгодно было, чтобы я помнил. А мне выгодно было, чтобы он думал, что я помню.

Он помолчал.

— Ну и ладно. Помнишь — не помнишь, а дело у нас общее. Род на краю, Иван. Годунов нас в землю вбивает, и не он один. Здесь, в Москве, каждый день решается, сожрут нас или помиловут. Пока — помиловали: Борис держит нас при дворе, чтоб под рукой были. А под рукой у него — значит, под топором.

— Что нужно делать? — спросил я.

— Ничего не делать. Лежать тихо. Ты теперь не княжич опальный, а сын боярский с Муромы, Гаврила тебе бумаги выправит. Живи, смотри, учись. В службу пока не лезь.

— А если лечь тихо не выйдет?

— Тогда, — он подался вперёд, — выйдет тебе на плаху, а заодно и всем нам. Ты в Москве не гость, Иван. Ты — слабое место. Понял?

— Понял.

— Вот и славно. — Он встал, одёрнул кафтан. — Гаврила тебя устроит. И запомни: первое правило Шуйского — не будь первым. Ни в споре, ни в драке, ни в любви. Первых у нас всегда бьют.

Он ушёл, и дверь за ним закрылась так же плотно, как открылась. Я остался один. За окном, за глухим забором, жила Москва: колокола, крики, скрип. А я сидел в полутьме чужого подворья и думал, что дядя мой впервые за весь разговор не спросил ни про матушку, ни про дорогу, ни про дьяка, который гнался за мной по пятам. Он спросил только, что я помню о договоре. И это сказало мне больше, чем всё остальное.

Ночь я проспал как убитый, без снов, — первая ночь за много дней, когда тело не ждало удара. Утром Гаврила принёс кафтан серого сукна, сапоги с чужой ноги и шапку без меха.

— Сойдёшь за приказного, — сказал он. — По Арбату в княжеском не ходят.

Он же вывел меня за ворота. Я думал, что заперт, но оказалось — нет. Воля моя в Москве начиналась с калитки, а дальше упиралась в толпу.

Мы пошли на торг. Гаврила шагал впереди, показывал, где булочный ряд, где холопий, где можно перейти улицу, не влезши в грязь по пояс. Я слушал вполуха. Москва опять глотала меня, и я снова не мог надышаться.

На Холопьем торгу я и увидел его. Мужик лет двадцати пяти, в одной рубахе, несмотря на холод, стоял на лавке, и его продавали. Лицо у него было такое, какое бывает у человека, который уже всё про себя решил, — ни злости, ни мольбы. Только скулы ходили. На шее — верёвка, но не натянута, так, для порядку.

— Сколько? — спросил я, не подумав.

Гаврила глянул на меня, как на дурака.

— Тебе зачем?

— На подворье людей мало.

— Тебе, Иван Васильевич, сейчас самому место тихое, а не люди. Купишь холопа — завтра весь Арбат знать будет.

— Скажи сколько.

Торговец заломил цену. Гаврила сторговал втрое меньше, зло, сквозь зубы. Деньги я отдал из полтины матушки, и, когда холоп сошёл с лавки и встал рядом, я понял, что купил не работника, а свидетеля. Он смотрел на меня, и я смотрел на него, и мы оба знали: теперь мы повязаны.

— Как звать?

— Тихон, — сказал он. — Тихон, сын Кузьмы.

— Пойдёшь со мной, Тихон, сын Кузьмы.

Он пошёл. Гаврила всю дорогу молчал, и молчание его было красноречивее ругани.

А на обратной дороге, у Собакиной башни, я впервые увидел Фёдора Романова.

Он стоял у башни, на булыжнике у рва, и разговаривал с двумя дворянами. Точнее, не разговаривал — слушал, склонив голову, как слушают человека, который тебе должен. Дворяне что-то доказывали ему, один тыкал пальцем в грудь, но не касался — рука останавливалась на вершок, как перед горячим.

Я узнал его не лицом. Лицо было молодое, лет двадцати, с тёмной бородой, ещё не тронутой сединой, которой я не мог видеть ни на одном портрете. Узнал по осанке. Фёдор Никитич Романов всегда стоял так, будто земля под ним чужая и он делает ей одолжение.

— Кто это? — спросил я у Гаврилы.

— Не смотри долго. Это Романов, Фёдор. Нам с ним не по пути.

— А с кем он спорит?

— Со Смирновым, сыном боярским. Давняя тяжба за луг у Клязьмы. До дуэли, говорят, доходило.

Я придержал шаг. Тихон остановился рядом, тоже смотрел.

— Дуэль, — повторил я тихо. В этой Москве слово значило не то, что в учебниках. Здесь за луг резали на саблях, и Романов, будущий Филарет, ещё не знал, что через сорок лет будет сидеть на патриаршем столе и из-под монашеского клобука править сыном. Он стоял сейчас у Собакиной башни, молодой, злой, красивый, и я знал про него всё: что он предаст меня в главе, которую я ещё не прожил, и что его благодарность ничего не стоит.

Смирнов что-то выкрикнул — слово ударилось о стену, как камень. Фёдор вскинул голову. Я увидел, как у него дрогнуло лицо, и не стал ждать, чем кончится: Гаврила уже тянул меня за рукав прочь.

— Пойдём, — процедил он. — У Романовых уши длинные, а у нас с тобой спина голая.

Я пошёл. Тихон шагал за мной, и я чувствовал его взгляд между лопаток. Купленный человек — это тоже уши. Он видел, как я остановился, как спросил про Романова. В Москве это уже была улика.

Дома, то есть на подворье, я сел у окна и долго смотрел на двор. Тихон стоял у колодца, не зная, куда деть руки. Гаврила куда-то ушёл, велел мне не высовываться.

— Подойди, — позвал я.

Тихон подошёл, встал у притолки.

— Ты чей был до торга? — спросил я.

— Ничей. Рода мы пашенного, да выгорели в тот год. Я в кабалу пошёл, чтоб семью кормить.

— Семью кормил, а продали тебя за полщены.

— Так бывает, — сказал он спокойно. — Я не в обиде. Лучше к тебе, чем к иному.

— Почему?

Он глянул на меня — быстро, снизу вверх, как смотрят, когда прицениваются к человеку.

— У тебя глаза не злые. И рука, когда платил, не тряслась.

Я не нашёлся что ответить. Отдал ему краюху и велел идти на конюшню, там ночевать.

Ночью я лежал без сна и думал про Фёдора. В прежней жизни я рассказывал ученикам про Романовых как про династию: вот, мол, из костромского захолустья вышли, пересидели Годуновых, пересидели Шуйских, пересидели всех. А теперь я стоял в грязи у Собакиной башни и смотрел, как будущий прародитель царского дома чуть не лезет в сабельный бой из-за луга. И ведь это я его должен спасти. Не потому, что он того стоит, а потому, что так было в той истории, которую я знал, — а я уже начал её менять одним своим дыханием.

Утром я узнал, что дуэль назначена.

Гаврила явился до зари, разбудил, сел на лавку.

— Смирнов нанял двоих немцев. Они стрелять будут.

— Стрелять? — Я сел, сон слетел разом.

— Пистолетами. За Крымским бродом, на лугу. Фёдор Никитич согласился. Дело худое, потому что Романовы к огненному бою непривычны, а немцы — наёмные, им что луг, что душа — всё деньги.

— Когда?

— Нынче к полудню. — Он помолчал. — Иван Васильевич, ты это брось. Я видел, как ты на него смотрел. Нам в чужие дуэли лезть — погибель. Романов сам себе выбрал луг.

— А если он погибнет?

— Тогда луг отойдёт Смирнову, а Романовы заплачут и найдут нового Фёдора. Тебе-то что?

Я встал, натянул кафтан. Перед глазами стояла та картина из будущего: Романовы пересидели всех. Если Фёдор погибнет сейчас, на лугу за Крымским бродом, не будет ни Филарета, ни Михаила, ни династии. И я, человек, знающий текст пьесы, не имею права сидеть у окна.

— Ты со мной или нет? — спросил я.

Гаврила долго смотрел на меня.

— Ты точно Шуйский, — сказал он наконец. — Те же глаза: всё просчитал, а всё равно полезешь.

— Так со мной?

— Куда я денусь. Дядя твой с меня шкуру спустит, если ты на лугу ляжешь.

Мы вышли затемно. Тихон увязался следом, и я не стал его гнать: лишний человек на лугу не помешает, а верного мне в Москве не было ни одного.

Крымский брод лежал за городом, в низине, где Москва-река расплзалась на протоки. Туман стоял по колено, и кони шли по нему, как по молоку. Я шёл пешком, придерживаясь за лук, и думал, что иду спасать человека, который через год воткнёт мне нож в спину. Смешно, если б не было так страшно.

На лугу уже стояли. Смирновские немцы — двое, в коротких кафтанах, с пистолетами, стволы вниз. Сам Смирнов сидел на пне, курил. Фёдор стоял против них, прямой, с саблей на боку, и ждал. Никто не начинал. Туман всё решал за них.

Я вышел из тумана первым.

— Стой, — сказал я громко, и голос мой прозвучал в низине, как чужой. — Стойте, православные. Так дела не делаются.

Все обернулись. Фёдор глянул на меня и сузил глаза. Смирнов встал с пня.

— Ты кто такой?

Я шагнул вперёд, и Тихон шагнул за мной, и Гаврила зашёл сбоку, как человек, который уже пожалел, что пошёл.

— Не важно, кто я, — сказал я. — Важно, что у вас тут пистолетами русские люди русских людей бить хотят, а это не по-божески и не по закону.

— По закону? — Смирнов засмеялся, но смех вышел жидкий, в туман. — А ты, грамотей, устав полельного суда читал?

— Читал. По уставу, коли оба дворянина, а не наёмные, — биться честно, в поле, при секундантах, и только по благословению суда. А у тебя наёмные стрельцы. Это не дуэль, это убийство за деньги.

Фёдор переступил с ноги на ногу. Впервые за всё время он посмотрел на меня не как на помеху, а как на что-то, что может быть полезным.

— Он прав, — сказал Фёдор негромко. — Я с твоими немцами, Смирнов, не пойду. Пусть выходят против меня сами, без пистолетов. Или суд нас рассудит.

Смирнов плюнул. Немцы переглянулись, один поднял пистолет — не целясь, так, для весу.

И вот тут я понял, что просчитался. Я остановил расстрел, но вместо него устроил другое: теперь Фёдор, разгорячённый, сам полезет на сабли против двоих, и погибнет не от пули, а от стали. А я, учитель истории, стоял в тумане и не знал, что делать с этой историей, которая пошла не по сценарию.

— Фёдор Никитич, — сказал я тихо, так, чтобы слышал только он. — Не лезь. Один против двоих — не честь, а смерть. Честь твою сегодня я беру на себя.

Он глянул на меня, как на безумца.

— Ты? Да ты на ногах едва стоишь.

— Зато у меня за спиной двое, — соврал я, — и оба с ножами.

Гаврила за моей спиной тихо, но слышно вздохнул.

Туман шевелился. Немцы ждали, кто заплатит. Смирнов снова сел на пень, закусил ус.

И тогда Фёдор Романов сделал то, чего я не ожидал от будущего предателя: он расстегнул пояс с саблей и швырнул её мне.

— Держи, заступник. Покажи, что не языком.

Я поймал саблю. Она была тяжёлая, чужая, и рука моя, слабая рука болезненного княжича, дрогнула под её весом.

Сабля легла в ладонь, как чужая ноша: не оружие, а обуза. Ремень на рукояти был стёрт до нитки, по гарде шла капля тумана. Я держал её перед собой и чувствовал, как мышцы плеча наливаются дрожью — тело помнило, что умирает без хлеба и сна, а не то, что без боя.

Немцы не двинулись. Один, тот, что постарше, с рыжей бородой, глянул на Смирнова и что-то сказал по-своему, негромко. Наёмники ждали, кто начнёт. Им было всё равно, кого убивать, лишь бы заплатили.

— Ну? — Смирнов снова поднялся с пня. — Чего встал, заступник? Саблю взял — так бей.

Я не ударил. Вместо этого сделал шаг в сторону, ближе к Фёдору, и опустил клинок остриём в землю, как делают, когда говорить хотят, а не рубить.

— Смирнов, — сказал я, и голос мой против воли сорвался на верх, как у мальчишки. — Ты тяжбу за луг ведёшь. Так и води её судом, а не кровью. Я тебе сейчас скажу, чем это кончится, если ты здесь кого-нибудь положишь.

— Ну, скажи, грамотей.

— Романовы подадут челобитную. За убийство на поле без суда — закуп и пеня, а за наёмных стрельцов — и вовсе выдача головой. Луг ты потеряешь по бумаге, а не по меже. И это я тебе при свидетелях говорю.

Я кивнул на Гаврилу, на Тихона, на немцев — они свидетелями не были, но слово «при свидетелях» в тумане весило больше, чем сабля.

Смирнов закусил ус. Он был не дурак, этот Смирнов, — сын боярский, который дожил до тяжбы с Романовыми и не потерял головы, тот умеет считать. Я видел, как он считает сейчас: сколько стоит луг, сколько — пеня, сколько — двое немцев, которым надо платить, и сколько — челобитная, которая пойдёт гулять по приказам.

— Ты кто такой будешь, что в мою тяжбу лезешь? — спросил он наконец.

— Человек, который тебе добра хочет, — сказал я. — Луг твой по праву, коли документы у тебя старые. Суд тебе его присудит, а дуэль — отнимет. Думай.

Немцы переглянулись. Рыжий сплюнул под ноги. Второй опустил пистолет ниже, к бедру, — это у наёмников значило, что бить сейчас не будут.

Смирнов смотрел на меня долго, и в тумане лицо его сделалось похоже на мокрый кирпич.

— Уговорил, чёрт грамотный, — сказал он зло. — Только запомни: в другой раз сунутся твои романовские — без разговоров лягут.

Он махнул немцам, и те пошли прочь, в туман, к лошадям. Смирнов шёл последним, не оглядываясь, и у пня, где курил, осталась лежать его рукавица — как брошенный камень с чужой души.

Я выдохнул. Только теперь понял, что всё это время не дышал.

Фёдор подошёл и забрал у меня саблю. Вложил её в ножны, не глядя, одним движением, какое бывает у людей, которых с детства учили.

— Ты откуда такой? — спросил он. — Говоришь по-приказному, а стоишь по-боярски. И саблю держишь, как оглоблю.

— С Муром я. Сын боярский.

— Сын боярский, а устав полельного суда наизусть. — Он усмехнулся одними губами. — Ладно, муромский. Имя скажи.

— Иван.

— Иван, а по отцу?

— Васильев.

Он кивнул, будто имя это что-то ему сказало. Но не сказало — Шуйских в Москве знали, а вот сын боярский Иван Васильев с Мурома был пылью, и это было мне на руку.

— Ну, смотри, Иван Васильев, — проговорил Фёдор. — Я твой должник. А Романовы долгов не забывают. Ни тех, что берут, ни тех, что отдают.

Он улыбнулся, и улыбка вышла недобрая, как у человека, который уже прикидывает, почём эта услуга встанет ему потом. Я смотрел на него и помнил другое: что через год он воткнёт мне нож в спину, а потом скажет, что так было надо роду. И эта его улыбка уже тогда, у Крымского брода, была первым взносом.

— Не забудь, — сказал я. — Пригодится.

Он рассмеялся, коротко, по-волчьи, вскинул руку и пошёл к своим. Туман сомкнулся за ним, и на лугу остались только мы трое: Гаврила, который смотрел на меня как на покойника, Тихон, который молчал, и я — с пустыми руками и дрожью в коленях.

Гаврила подошёл вплотную.

— Ты понимаешь, что сейчас было? — зашипел он. — Ты Романовым долг на шею себе накинул. Теперь Фёдор Никитич тебя запомнил. А в Москве, кого Романов запомнил, того либо купят, либо съедят.

— Не съедят, — сказал я. — Сегодня не съедят.

— Дурак ты, Иван Васильевич. Тихон, скажи ему.

Тихон молчал, переминаясь с ноги на ногу. Потом поднял глаза.

— Барин правильно сделал, — сказал он тихо. — Смирновский бы его на лугу и оставил. А так живой.

— И ты туда же, — махнул рукой Гаврила и пошёл прочь, зло чавкая сапогами по мокрой траве.

Мы уже вышли с луга, когда я услышал за спиной мокрый хруст — не шаги, а именно хруст, с каким сапог выдирается из раскисшей травы. Я обернулся первым, раньше, чем Гаврила успел открыть рот.

Глава 5

Хруст повторился, ближе, и из молока тумана выдрался человек. Рыжий немец. Он шёл без пистолета в руке, но правая держала что-то под поллой, и шёл он не как человек, который забыл рукавицу.

— Забыл что-то? — спросил Гаврила, не оборачиваясь до конца, и по голосу его я понял, что он уже всё понял.

Немец остановился шагах в десяти. Дышал ровно, как дышат после небыстрой ходьбы, и смотрел не на Гаврилу — на меня.

— Смирнов велел передать, — сказал он по-русски, с трудом, как по льду, — что грамотеев на лугу не оставляют.

И вынул из-под полы пистолет. Не тот, что был раньше, — короткий, с колесцовым замком, тускло блеснувшим в тумане. Он поднял его не торопясь, как работник поднимает молот, и я понял: бить будет в упор, в меня, а не в Гаврилу.

Гаврила шагнул вбок, заслоняя меня, и Тихон шагнул вперёд, не задумавшись, так, как входят в воду с берега, не пробуя ногой.

— Стой, — сказал Тихон. — Барин ни при чём.

— Все при чём, — ответил немец и взвёл курок.

В тишине над лугом этот звук был как щелчок пальцев над ухом. Я видел, как Гаврила побелел — не от страха, а от злости на меня, на себя, на всё. Видел, как Тихон пригнулся, перенося вес с пятки на носок, и впервые за день увидел в нём не купленного мужика, а человека, который дрался и до меня.

— Беги, — сказал я Гавриле. — Я его задержу.

Сам не знал, чем задержу. Сабли у меня не было. Нож — в сапоге, тупой, с чужой руки. Но тело уже решало за меня: я шагнул в сторону от Тихона, чтобы немец не держал нас троих на одной линии.

Немец повёл стволом за мной. Глаза у него были спокойные, деловые — он не хотел меня убивать, он хотел закончить работу и вернуться к лошадям.

И тогда Тихон кинулся. Не по-холопы — низко, быстро, по мокрой траве, как бросается сбитый с привязи пёс. Немец не успел перевести ствол. Грохнуло. Дым рванул в стороны, как грязная вата.

Тихон не упал. Он всем телом врезался в немца, сшиб его с ног, и оба покатались в траву, к протоку. Я увидел, как рука Тихона дважды поднялась и опустилась — коротко, туда, где у человека горло.

Немец захрипел, засучил ногами. Пистолет отлетел в траву, к моим ногам, ещё тёплый.

— Вставай! — орал Гаврила, дёргая меня за рукав. — Вставай, уходить надо!

Я не мог отвести глаз от Тихона. Он встал с колен, шатаясь, и пошёл к нам. На рубахе у него, под правым плечом, расплывалось тёмное, не туманное.

— Задело, — сказал он спокойно, тем же голосом, каким утром говорил, что не в обиде.

— Дай сюда. — Гаврила рванул его к себе, задрал рубаху.

Я увидел рану. Пуля вошла под ключицу, чуть ниже, и вышла у лопатки, разворотив край. Кровь шла не толчками, а ровно, как вода из наклонённого кувшина. Тихон смотрел на неё, будто на чужую.

— Дойти смогу, — сказал он.

— Врёшь, — ответил Гаврила. — Иван Васильевич, бери его под другую руку. Да быстрее, пока Смирнов остальных не высрал.

Я взял. Тихон оказался лёгкий, костистый, и от него пахло потом, туманом и горячей кровью. Мы пошли к городу, не оглядываясь на немца, который остался лежать у протока — живой или мёртвый, я не знал, и знать не хотел.

До Москвы шли долго. Тихон не стонал, только дышал всё мельче, и голова его клонилась к плечу, как у пьяного. Гаврила вёл нас дворами, мимо заборов, не по улице, и у калитки подворья огляделся, прежде чем стукнуть.

В клети Гаврила уложил Тихона на лавку, на старую попону, велел мне держать, а сам рванул за водой. Я остался с ним вдвоём.

Кровь уже не шла из раны — лилась. Тихон смотрел в потолок, губы у него сделались серые, и он всё пытался облизать их, но язык был сухой.

— Зачем ты полез? — спросил я, прижимая к ране тряпку. Тряпка враз намокла, тёплая, чужая.

— А чего ж не полезть, — сказал он с трудом. — Ты меня с лавки снял. Я тебе должен был.

— Ничего ты мне не был должен. Я за тебя деньги отдал, а не душу купил.

— Душу не купишь, — согласился он. И почти улыбнулся. — А тело — было куплено. Вот и сгодилось.

У меня сжало горло. В прежней жизни я объяснял ученикам, что такое холопство: юридический статус, долговая кабала, право выкупа. А теперь человек с простреленным плечом лежал на лавке и оправдывал передо мной собственную смерть, потому что я за него заплатил полтину из материнского узла.

— Живи, — сказал я. — Слышишь? Ты мне живой нужен.

— Все жить хотят, — ответил он. — Только не всё выходит.

Гаврила вернулся с водой и чистыми тряпками. Посмотрел на рану, на меня, покачал головой.

— Крови много потерял. Кость целая, а жила порвана. Ежели огневица не возьмёт, до утра дотянет.

— Дотянет, — сказал я, сам не веря.

Тихон глянул на меня снизу вверх, тем самым быстрым взглядом, каким утром приценивался.

— Ты, барин, не вини себя, — сказал он тихо. — Я на лугу не за тебя полез. Я за то, чтоб хоть раз в жизни не как купленный, а как человек.

Он отвернулся к стене. Гаврила принялся рвать тряпки на полосы, а я сидел у лавки и смотрел, как на груди Тихона поднимается и опускается рубаха — всё режет, всё тише.

Так я и узнал, что первое правило Шуйского — не будь первым — я нарушил в первый же день. И заплатил за это не собой.

К утру Тихон горел. Огневица пришла не к полуночи, а под утро, когда за окном начало сереть. Он заметался по лавке, сбивая тряпки, стал звать какую-то бабу — не мать, по голосу слышно, а жену, оставленную в сгоревшей деревне. Гаврила придавил его к лавке, я держал ноги. Тихон был лёгкий, но в жару из него лезла сила, какая бывает у людей не в себе.

— Воды, — сказал Гаврила, не оборачиваясь. — И воск со свечи. И хлебного вина, если найдёшь.

Я нашёл вино у Гаврилы в сундуке, под кафтанами. Свечу оплывшую взял с подоконника. Гаврила полил рану вином — Тихон дёрнулся, будто его резали заново, и затих. Потом Гаврила сунул мне в руку тряпку, намоченную в воде:

— На лоб ему. И держи, чтоб не скинул. Сейчас, может, отпустит.

До рассвета мы сидели с ним вдвоём над Тихоном, как двое над колодцем, в который смотрят, не поднимается ли вода. Я менял тряпку, Гаврила щупал пульс на запястье, мотал

головой. Тихон то затихал, то снова начинал говорить — быстро, неразборчиво, всё про пепел и про то, что рожь в тот год стояла по пояс, а потом пришли с факелами.

— Бредит, — сказал Гаврила. — Это хорошо. Хуже, когда замолчит.

Он замолчал к полудню. Дыхание выровнялось, жар спал, и он уснул — настоящим сном, не забытём. Гаврила поднялся, разминая спину.

— Выживет. Молодой, жилистый. Пуля-то сквозь мясо прошла, кость не тронула. Немец тот, видать, торопился.

Я тоже поднялся. Ноги были чужие, голова пустая, как после долгого чтения. И тут только вспомнил про немца, оставленного у протока.

— А тот, рыжий? — спросил я.

Гаврила глянул на меня исподлобья.

— Мёртвый. Тихон ему горло смял, не доходя до ключицы. Да ты не радуйся: теперь у Смирнова на тебя зуб, какого он до смерти не сточит. Ты ему наёмника сгубил. А наёмник — это деньги. За деньги он с тебя, Иван Васильевич, не шкуру — душу спросит.

— Сам не ползет?

— Сам — нет. Он трусоват, Смирнов этот. Но у него брат двоюродный в Сыском приказе служит, и жена его — Скуратова, а это, знаешь ли, порода. Такие не саблей, такие бумагой давят. Жди, скоро дьяк твой знакомый о тебе узнает.

Я сел на лавку, напротив спящего Тихона. Вчерашний день встал передо мной целиком, как выученный урок: торг, Романов, туман, выстрел, кровь. Я хотел спасти Фёдора — и спас. Но за это теперь Тихон лежал с дырой под ключицей, а Смирнов получил повод искать меня. Я выиграл будущую династию и проиграл тишину, ради которой дядя велел мне лежать на дне.

— Гаврила, — сказал я. — Дядя знает?

— Пока нет. Но узнает. Дворян видела, как мы ночью ввалились с раненым. Тут уж либо сам скажи, либо доложат. Лучше сам.

Я кивнул. Гаврила вышел, и я остался один. Тихон спал, и во сне лицо у него сделалось моложе, как у мальчишки. Я смотрел на него и вспоминал его слова: «За то, чтоб хоть раз в жизни не как купленный, а как человек». В прежней жизни я бы сказал ученикам: вот, мол, личное достоинство пробивается даже сквозь холопскую кабалу. А теперь понимал другое: он полез под пулю не ради достоинства, а потому, что ему нечего было терять. Свободный человек из него вышел бы позже, если бы вышел вообще. А купленный — бросился вперёд, потому что я, заплатив за него, дал ему впервые право распорядиться собой. И он распорядился.

От этой мысли было не легче, а честнее. Я не герой, который спасает верного слугу. Я господин, который в первый же день послал человека под пулю, и тот пошёл, потому что такова была плата за полтину.

Дверь отворилась без стука. Вошёл Василий Иванович. Я встал. Он остановился на пороге, оглядел клеть: лавку, тряпки в крови, меня с опухшим лицом, спящего холопа. Потом перевёл взгляд на мои руки, которыми я, сам того не заметив, всё ещё комкал мокрую тряпку.

— Сядь, — сказал он. Не поздоровался.

Я сел.

Он не сел. Прошёлся до окна, заглянул во двор, будто и там мог кто-то подслушивать, вернулся.

— Рассказывай. Всё. С начала и до немца.

Я рассказал. Без прикрас, без оправданий. Про торг, про Романова, про луг, про саблю, которую не удержал, про Тихона, который полез. Про то, что Смирнов теперь мне враг, а Романов — должник, и неизвестно, что из этого опаснее.

Василий Иванович слушал, не перебивая. Только один раз, когда я дошёл до слова «дуэль», у него дрогнула бровь, как у человека, услышавшего знакомое имя.

— Фёдора Никитича, значит, спас, — проговорил он, когда я замолчал. — И сам себя заодно похоронил.

— Я не мог иначе.

— Мог. Все могут. Ты не захотел. — Он наконец сел, напротив, как в первый раз. — Ты хоть понимаешь, что Романов теперь тебе должен, и оттого ты у него на крючке? Долг — это вторая кабала, Иван. Страшнее холопией. Холопа можно выкупить, а долг благородного человека не выкупается никогда. Он тебя либо озолотит, либо убьёт, чтобы не платить. Скорее второе, с его-то нравом.

— Я знаю, кто он. И знаю, что он меня предаст.

Василий Иванович долго смотрел на меня.

— А вот этого, — сказал он тихо, — я бы на твоём месте вслух не говорил. Даже здесь. Даже мне. Ты слишком много знаешь, Иван. Иногда мне кажется, что ты знаешь всё, что будет, и от этого мне с тобой страшно.

— А мне с собой, — сказал я.

Он хмыкнул, но невесело.

— Ладно. Что сделано, то сделано. Тихона выходим — человек будет верный, такой дорогого стоит. А Смирнова я попробую утишить. Есть у меня к его дяде одна грамотка, давно берегу. — Он поднялся. — И запомни второе правило Шуйского, раз первое не сгодилось: не спасай того, кто тебя не просил. Романов тебя не просил. Ты сам полез. И теперь не жалуйся, что он тебя съест.

Он ушёл, и дверь закрылась плотно. Я остался у лавки, где спал Тихон, и впервые за долгое время подумал, что дядя, кажется, только что сказал мне правду.

К вечеру Тихон открыл глаза. Гаврила принёс ему отвар из сушёной малины, напоил с ложки. Тихон глядел на меня поверх чашки и молчал, но во взгляде его было что-то новое — не приценка, а упрямство, с каким человек решает для себя, что пойдёт за тобой дальше, даже если больше некуда.

— Пить хочешь? — спросил я.

— Хочу, — сказал он. Голос был слабый, но свой. — И ещё хочу знать, барин: тот немец, что стрелял, он тебя больше не тронет?

— Нет, — сказал я. — Не тронет.

— Вот и хорошо, — ответил Тихон и снова закрыл глаза. — Тогда и я тебя больше никуда не отпущу.

Три дня Тихон отлёживался, а я отсиживался. Гаврила не выпускал меня за ворота, сам ходил на торг, приносил хлеб, соль, слухи. Слухи были всё про одно: на Крымском броду нашли мёртвого наёмника, и теперь ищут, кто его положил. Имя моё пока не всплывало, но Смирнов, говорил Гаврила, уже подал челобитную — не на меня, а «на неизвестного, что вмешался в полезный суд и разбой учинил». Бумага эта легла в Сыскной приказ.

— Дьяк Годунов её читал? — спросил я.

— Читал. И, говорят, долго так пальцем по краю водил, как всегда, когда учует добычу.

Я промолчал. Семён Годунов теперь имел на меня не только догадку, но и бумагу. Челобитная с описанием «сына боярского Ивана Васильева с Муромы» — это было всё равно, что самому расписаться в его протоколе.

На четвёртый день Тихон встал. Рука висела на перевязи, но держался он прямо. Пришёл ко мне в клеть, поклонился с порога, здоровой рукой придерживая больную.

— Дозволь, барин, при деле быть. Лежать мочи нет.

— Какое дело? — спросил я. — Дела у нас — тишину хранить.

— И то дело. — Он сел на лавку у двери, как человек, который уже знает своё место, и стал смотреть во двор.

С того дня он не отходил от меня. Сидел у двери, спал у порога, ходил следом до колодца и обратно. Гаврила ворчал, что холоп из него вышел слишком ретивый, но я видел: Тихон не прислуживал. Он сторожил. Тот выстрел у протока что-то сломал в нём и собрал заново, и теперь он решил, что я — тот, ради кого стоит встать поперёк пули. Мне от этого было не по себе, но гнать его я не мог.

А на пятый день я понял, что тишина — тоже ловушка.

Гаврила вернулся с торго бледный, поставил корзину, не развязав, и плотно закрыл дверь.

— Плохо дело, Иван Васильевич. Смирнов помер.

— Как помер?

— Нынче ночью. У себя на подворье. Люди говорят — сердце. А я тебе скажу: сердце у него было здоровое, я его на лугу видел, когда он на пне сидел. Это его прибрали, чтоб язык не развязал. Слишком много он после того луга болтал про тебя и про Романова.

Я сел. В голове застучало.

— Кто?

— А то не знаешь? Романовы. Фёдор Никитич тебя запомнил — и не как спасителя, а как свидетеля. Ты видел, как он чуть не бился из-за луга. Ты знал Смирнова. Ты слышал, что Смирнов сказал при расставании. Теперь Смирнов мёртв, а ты — последний, кто видел их вместе.

— Я не видел, как его убивали.

— Да какая разница! В приказе спросят не «видел ли», а «почему живой остался». Ты для них — либо соучастник, либо следующий покойник. Романов так и сделает: либо купит, либо уберёт. Я ж говорил тебе тогда, на лугу.

Он замолчал. За окном короткобрякнул колокол — не набат, просто к вечерне. Москва жила своей жизнью, а в моей клетке пахло холодным страхом.

— Что дядя говорит? — спросил я.

— Дядя твой велел передать: сидеть и не высовываться. Но это он всегда велит. А ещё велел спросить, не ты ли Смирнова прибрал. Я сказал — нет. Он не поверил, но делать нечего.

Я встал, подошёл к окну. Двор был пуст, только Тихон сидел у колодца и строгал палочку здоровой рукой.

— Если Смирнова убили Романовы, — сказал я, не оборачиваясь, — то Фёдор теперь у дьяка Годунова на крючке. И ему нужен козёл отпущения. А кто лучше подходит, чем муромский сын боярский, который вмешался в чужую тяжбу?

— Вот и я про то, — глухо сказал Гаврила.

— Значит, сидеть — это дожидаться, пока за мной придут.

— А бежать — значит самому подписать себе вину. Куда ты побежишь? В Муром? Так там тебя первого и сцапуют. У тебя в Москве только подворье и дядина защита. И та — до первого приказа.

Я долго молчал. В прежней жизни, если ученик заваливал ответ, я говорил: давай разберём, что мы знаем наверняка. Теперь я сделал то же с собой. Что я знал наверняка? Что Смирнов мёртв. Что Романов — либо убийца, либо заказчик. Что дьяк Годунов уже читал челобитную с моим именем. Что у меня нет ни силы, ни людей, ни бумаги, которая отведёт от меня беду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.